

Зачин этих заметок спрятан в том разочаровании, что многие люди утратили представление о простых вещах, как об основе разветвляющейся сложности. Простота же более наглядна, выразительна, и в ней, в свою очередь, может быть заключена не меньшая сложность. Поскольку маленькая молекула служит началом делению все новых сущностей...

И эти простые истории, предлагаемые читателю, подтверждают мысль, что в начале было все-таки одно, неизменно маленькое. Без чего не было бы ни мира, ни нас с вами.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЛАВОЧКА

О местах силы я услышал от одной из своих синеглазых племянниц. Будто бы есть такие мистико-энергетические точки на планете, в которых природа достигла совершенства. В них соединяются внутреннее и внешнее, мирское и священное, небо и земля. И якобы в них происходят изменения в природе и психике человека. Мачу Пикчу, пирамиды, даже каменные лабиринты в Кандалакше. И услышал я это от нее перед тем, когда она с кочановской лавочки ушла бродить по окрестностям.

Ах, лавочка у палисадника деревенского дома...

Она со временем обновлялась и сдвигалась вместе с перестроенным палисадником. Но не менялись ни ее значение, ни точка зрения с нее, ни угол обзора...

Ползла назад отец, закончив обустройство нового кожановского дома, куда семья переехала из Глиницы, насадил, наконец, вокруг усадьбы березу, каштан, тополя и ракиты, огородил штaketником палисадник перед домом и постановил у огороды лавочку. Вкопал два столбика, прибил к ним толстую дубовую доску. Без этого окончательного «штриха» новая усадьба не могла считаться полноценной «картиной». В своем явлении лавочку можно было бы так же посчитать особым местом — вокруг нее сходились простота и рациональность человеческой обители, красота облегающей дом природы, в среду которой человек помещен.

Лавочка претерпевала изменения. Через десять-двенадцать лет доска от жары, непогоды и морозов ветшала, лушилась и выкрашивалась. Доску ночью на Петровки могла по обычаю выкорчевать, забросить на крышу или утащить неизвестно куда панкующая молодежь. Отец искал в сарае новую доску и, косясь на подозрительную улицу, прибывал ее намертво к столбикам блестящими толстыми гвоздями.

Сиживали на ней и мать отца, бабушка Арина, и мать матери — бабушка Лукерья. В разные годы они по очереди жили в доме, присматривали за хозяйством, когда родители уходили на работу, нянчили нас, внуков. Помню сценку из детства: бабушка Лукерья сыплет яичное крошево крохотным желтым цыплятам, толкущимся у лавочки. Квочка кококает, важно переминается у бабушкиных ног, чуть ли не подталкивает к корму выводок писклят, будто ладошками, кончиками полуопущенных крыльев...

Кто-то из сельчан подсаживался к бабушкам, заговаривал о жизни, делился с ними деревенскими новостями. Должно быть, вечерние посиделки на лавочке оставались их единственным способом социальной коммуникации. Придавали полноту их долгому бытию, клонящемуся к закату. Скрашивали их деньки созерцанием привычного ландшафта, согревали ослабевший взор осенним светом. Еще различались в дымке и лесок Жерновец на скате Чертова бугра, поднимающаяся из тела плотины в логу ракитовая поросль, зашипанная гусьями трава за дорогой напротив дома...

Мать любила лавочку. В жару это место накрывали тенью сперва ракита и буйный куст одичавшей смородины с названием «Тимиразевская», потом береза напротив дворовых ворот. Во второй половине дня — высокий тополь, а вечером, когда солнце вот-вот должно было скрыться за крышу летней кухни — и широкие листья развесистого каштана в палисаднике.

Летом съезжались дети, внуки, правнуки. О каждом она хотела знать, кто куда собрался, чем занят в эту секунду. По вечерам беседует беседы, всех критикует, поучает. Иногда хочется сбегать от ее опеки, скрыться без вести, но понимаешь, что иначе она не может. Она старшая в роду. Ответственна за каждого. Для нее детский сход вокруг лавочки — весь мир.

Ответственна до тех пор, пока в ней нуждаются дети, внуки, потом правнуки. А как они уезжают, устремляются в даль, начинают жить самостоятельно и потребность их в нужде слабеет, они постепенно, год за годом, отходят и от ее сердца. Сперва ее дети, потом дети их детей, и в конце всего — дети детей ее детей. Она остается на лавочке одна.

Смотрит, как в последний раз, на Чертов бугор, на Жерновец. К ней подсаживается кто-нибудь из прохожих, рассказывает последние деревенские новости. Иногда и она что-нибудь рассказывает. О раскулаченном детстве, о минувшей большой войне, когда она в составе победившей советской армии побывала в австрийских местах, тех самых, где в годы Первой мировой войны в плену побывала ее отец. И до скончания дней испытает все те переживания и чувства, которые испытывала на лавочке ее мать. Эта лавочка проводит ее и в последний путь...

Отцу рассиживаться было некогда. Лишь редкими вечерами, вернувшись с машинного табора и подвыпивши свежего бураковского самогончику, он заседал на лавочку и, бывало, заводил заунывные «Вниз по Во-олге-ге-реке», или «Ты не вейся надо мною, че-го-горный во-орон — я не твой...» Или вот «Шумел камыш».

Я сидел рядом с ним, большим и сильным, пропрахшим потом и соляром, и мне было жутковато. Никакого ворона над нами, конечно, не виднелось, но невольная-таки ощущалась гордость за то, что отец не поддастся ему, черному, — и даже отрицает его. Взрослым я нашел слова тех песен, слушал «Вниз по Волге» в исполнении великой Обуховой. Они, как большинство русских народных песен, были о любви...

В опустившихся на деревню сумерках отец спросил: «Ты к чему-нибудь стремишься, псюган?» И добавил, повесив хмельную головушку: «Надо стремиться...»

Было тогда загадкой, почему, сидя на лавочке, нужно было к чему-нибудь, а то и куда-то стремиться. Имелась ли в виду под словом «стремиться» извечная деревенская мечта стать приметным в этой жизни, обрести видное положение, занять значимое место в обществе? Достичь высот в науке, искусстве, политической деятельности? Но, должно быть, лавочка обладала еще и каким-то начальным импульсом, источала своим существованием непонятную силу, пробуждающую в сидящем на ней человеке неодолимые порывы к неизвестному.

Незнакомые ранее посещали мечтания о будущем, неизвестными по ощущениям были и первые осторожные поцелуи с девушкой с другого края деревни, первые горячечно-испытующие объятия... Лавочка обладала тайной, ее влияние на молодых людей до сих пор не исследовано.

Виделась с нее и туманно-мечтательная траектория исхода, что в поздней жизни умозрительно отлилось в правила бегства, первое из которых гласило — возвращаться нельзя. Траектория возникала в человеке независимо от шатучих веяний века или следовала из хозяйственной или военной необходимости государства. Каин бегал по миру из страха перед Богом. От чего бежит нынешний человек? От трудностей, от скуки, или, наоборот, от пресыщенности? Почему он ищет повода изменить текущее, часто вполне устойчивое существование на неопределимое в своем качестве и неопределенное в своих измерениях будущее? Нет ответа.

Перед тем, как построить свое место силы, деревенскую лавочку, отец тоже вернулся из долголетних устремлений. Ходил на торговых судах в Америку за лендлизом, после войны завершил кругосветку по Северному морскому ледовитому пути из Мурманска во Владивосток. Рассказывал, как в редком тумане проходил проливом Дежнева, как в беринговоморских потемках узрел очертания Карагинского острова. Но он-то вернулся... А его траектория безотчетного бегства, будто свернутая в пружину, продолжала производить будоражащий импульс.

Он не подделывал на самого младшего его сына, Володю. Пропустил ли он зов, исходящий от лавочки, или нарочито не обратил на него внимания? Как бы ни было, он до сих пор живет неподалеку от лавочки, случается — и присядет на нее...

Но импульс взбудоражил старшего сына Юрия. Того притянуло море, ходил радистом на землечерпалке по Черному морю, посещал Болгарию и Румынию, а потом навсегда заманила его вятская тайга. Деревья за калиткой его дачи — выше небес, стволы корабельных сосен оплели змеистые лианы, человек в сумрачном низу ощущает робость, жадно выискивая глазами редкий солнечный луч.

Старшая дочь Ольга осела на окраине страны, в Одессе, в противоположность младшей сестре Антонине. Ее, как повара-кулинара, привлек Дальний Восток. Пекла хлеб в тихоокеанском поселке Тетюхе, ныне Дальнегорске, известным тем, что в нем некогда родился Юл Бриннер, голливудская звезда из фильма «Великолепная семерка». Импульс для нее иссяк в Москве.

Более всего качнуло меня, второго его сына. Морем заплыл дальше Дальнего Востока, запоздало подсветил отцу маяком с камчатского острова Карагинского, как бы помечая сверкающей точкой траекторию вечного бегства.

А теперь и его внуки беспокоятся. Когда я пишу эти строки, на сухогрузе бывшего Черноморского пароходства, ныне принадлежащем турецкому владельцу, один из отцовых внуков, механик холодильного оборудования, двадцатый раз огибаает каме-

нистый африканский мыс Доброй Надежды. Проще перечислить места, где он не бывал.

Моя синеглазая племянница, которая сошла с деревенской лавочки несколько лет назад, в байкерских поисках места силы оказалась в Таиланде, вышла замуж за тайца и родила дочь Агату. Их навещает тайская бабушка-колдунья, которая жует бетель и непрерывно беседует с духами. Обезьян там в специальных школах учат срывать с пальм кокосы, слоны запросто бродят по дорогам, в год снимается по шесть урожаев картошки, а люди не умирают, но перевоплощаются.

Нет, не посидит, вероятно, Агата на кочановской лавочке. Да и невелика потеря: с ее лавочки виден не надсадный Чертов бугор, а синий океан и горячий песок на берегу. Агата посаживает грудь и смородинками черных нерусских глаз смотрит на мать. Они обе находятся на месте своей силы.

Однако на кочановскую лавочку возвращаются мои дети, стали заседать на ней мои внуки.

Неизвестно, какой импульс они наследуют на ней. Импульсом трудно управлять. Мне, сломавшему правила бегства тем обстоятельством, что я вернулся, подобно отцу, на место силы, желательно знать: будут ли мои внуки наследовать эти правила, или же они лишь поддадутся безликой и безучастной к человеку траектории? Исключения из правил бегства позволяют спеть на лавочке «Шумел камыш», траектория — неизвестно.

...Весной нужно будет сменить доску на кочановской лавочке. Прежняя едва держится на столбиках, потрескалась, ее края обкрошились. Подходящая доска как раз нашлась в сарае.

Ее должно хватить на десять-двенадцать лет.

ПРОГОН

Он представляет собой техническое земляное сооружение. Попросту — обвалованная грунтовая дорога километровой длины от деревни Кочановки до железнодорожного полотна. Прогон имеет свою историю.

Широкое строительство железных дорог в России началось в середине девятнадцатого века. Транссибирская магистраль, ради создания которой правительство влезло в долги, как стальной шов, стянула огромную страну. Сеть железных дорог развивалась и в европейской части Российской империи. Отрезок строящейся в начале прошлого века дороги Киев-Воронеж пролегал у Кочановки.

Хотя на строительстве российских железных дорог уже местами применялись экскаваторы и бульдозеры, закупленные в Европе и Америке, основная часть работ производилась вручную. Трудно поверить, но для выравнивания рельефа местности до прокладки железнодорожного полотна с помощью лопат и тачек срывались холмы, заваливались грунтом обширные овраги. А еще отсыпались переезды, оборудовались лизерты — полосы отчуждения по обе стороны полотна, и прогоны — отводные вспомогательные дороги.

Строили артелями. Сотни деревенских мужиков нанимались на строительство с шанцевым инструментом, подводами и лошадьми, разбивались на десятки. Десятником на строительстве прогона в 1911 году был и мой дед Фанас. Видится картина вековой давности... Едва над Глиницей и Кочановкой забрезжит летнее утро, по росной траве к железнодорожному полотну уже тянется череда бестарок и фур. По бечевкам, натянутым геодезистом на колышки, мужики снимают лопатами полуметровый слой почвы, тачками и телегами вывозят в поле, роют водоотводные каналы по обе стороны дорожного полотна, отсыпают снегозащитные валы. Спустя два-три года — и дорога, и каналы, и валы зарастут травами. Это сооружение сольется с окружающей местностью, лишь правильные формы укажут на его рукотворное происхождение.

Таким образом, прогон стал деревенским достижением. Толика участия в масштабном имперском проекте приблизила Глиницу и Кочановку к пространству страны.

Прогон был дорогой во внешний мир. С прогона, а потом огородами, начинался путь на другой край деревни к остановке рабочего поезда. На нем можно было доехать до Льгова, Курска и Глушкова, а оттуда на междугородних поездах — до Киева и Воронежа, Ленинграда и Москвы. Чтобы увидеть потом и Челябинск, и Владивосток. По прогону добирались до автобусной остановки на селекционной станции. Автобусы ходили не только между райцентром и местными деревнями, но до Рыльского и Сумского брянских и белорусских окраин.

По прогону из деревень утекали в мир молодые силы, уходили парни и девушки, которым не нашлось на родине места и работы. Они не возвратились. Уходили и романтики, искушенные запахами далекой тайги и морской соли. Уходили жаждущие правды. Ушел и один молодой человек, чтобы вернуться в опустевший родительский дом спустя тридцать лет...

Мой товарищ, выросший в обделенной семье, признавался, что искал в семье полноты. Ему не хватало близких. Родственников, братьев, сестер. Его жизнь потом и сложилась в открытом общении с людьми и миром. В противоположность ему мне приходилось искать уединения в большой семье: пятеро детей, отец с матерью, одна из бабушек, а то еще жила троюродная сестра откуда-то из Белореченска. Это началось сразу, как освоил чтение. Книги занимали мое воображение и свободное время, а чтение превратилось в род тихого, но навязчивого заблуждения. Старые люди в деревне не одобряли такой привычки, считая ее опасной: «Зачитаешься...» Значит, уйдет в вымышленный мир, отгородится стенами бумажных страниц от реальности жизни.

Был готов к чтению в любую минуту: читал на уроках в школе, положив книгу под парту на колени, ночью читал с фонариком в постели под одеялом, пока не садилась батарейка. Мать посылала в лавку за керосином, а я ехал на велосипеде, удерживая книгу на руле и одним глазом смотрел на дорогу, другим — в страницу. Читал за едой, пока мать не отбирала книгу: «Память заешь!» Была и такая примета...

Тишком заползал на сеновал в сарае и в самом дальнем темном углу ложился на хрусткое сено под дырку от гвоздя в шифере, откуда в раскрытую книгу бил тонкий лучик света.

В сене шуршали мыши, вокруг сарая по огороду бродили и кричали сестры, искала мать — а я не отзывался, забыв обо всем на свете. И только когда во дворе мать начала доить вернувшуюся из похода по травяным балкам корову, тихо спускался с сеновала, выскальзывал в дверь и, как ни в чем ни бывало, предстал пред очи сестер.

Корову нужно было попасть до заката, чтобы было что подоить утром, перед новой отправкой под пригляд деревенского пастуха. А кроме меня, всегда готового попасть корову, других не находилось...

Теперь и не помню корову, которую пас на прогоне. Звали ли ее Зорькой или Муськой, была ли бурой масти или белой с черными пятнами. Остались в памяти общие приметы. Невысокая, скорее мелкая — а мелкие коровки как раз *дойкие*. Несуетная. До этого приходилось пасти ее с бычком либо телкой — до той поры, когда их можно было привязывать к колышку на лужке у дома — на самовыпас. Они по-детски резвились, взбрыкивали, залетали в ров, карабкались на валы прогона. А потом посовывались к мамкиному вымени...

Подступал для каждого свой срок, подросшего бычка продавали, телочку-ярку уводили на осеменение. А старую корову отец однажды ранним утром увел по прогону пешком — на льговскую бойню. Мы плакали, расставаясь с нею. Сестры гладили ее по бокам, чесали за рогами, корова стояла смиренно, нежась прикосновениями. А на прогоне хватала на ходу с обочины последний пучок начинающей сохнуть травы...

Но корова, которую пас на прогоне — вечна. Образ ее — необходимого мне, кроткого существа — отпечатлелся в благодарной памяти. Пока она стригла траву на прогоне, временами под угрозой хворостины покушаясь на колхозные зелена за его пределами, я раскрывал книгу и внедрялся в хитросплетения отношений между мустангерами и кабальерос. Над кочановскими просторами свистело лассо, звучали в оврагах отдаленные винчестерные выстрелы, скакал по полям всадник без головы. Зорька не доходила даже до коленного поворота прогона в его середине, трудолюбиво поворачивала обратно на другой ров. И, наконец, пресыщенная, поворачивала ко мне голову и в ее лиловых круглых глазах отражалось недоумение, смешанное с упреком: «Когда ж ты начитаешься? Домой пора!...»

Зимой на рассвете дети с пятого по одиннадцатый класс собирались в среднюю школу при Льговской селекционной станции. Идти туда от нас три километра. Неезженная дорога, а скорее, тропа, перемахивала железнодорожное полотно, по посадке вползала в густой парк селекстанции — и по нему подступала к собственно школе. А начинался путь в школу с кочановского прогона. Прогон заносило. Снега были высокие — переметали и забор. Хорошо, если дорогу чистили бревенчатой бабой-волокушей, прицепленной к трактору. В том случае, когда дорога через железнодорожный переезд на селекционную станцию в километре от прогона продолжала исправно служить для перевозки жома с сахарного завода, подвозки почты или продуктов в магазин — прогон чистили не скоро. И тогда школьникам приходилось покорять его пешком.

С мелюзгой старшекласникам возиться было некогда. Они уходили вперед — рослые, мужиковатые, как сомы — и пробивали по целине первую струистую степку. За ними шли девчата-старшеклассницы, а уж потом катилась невообразимая мелкая рыбешка... Весенней распутицей школьный народец двигался по подсохшим травяным рвам, а уж когда трава набирала рост — шагал наезженной машинами колеей.

А травы на прогоне вырастали преизрядные. Попадался кое-где репейник или татарская колочка, но только потому, что везде пролезут. Местами пробивались клеверные куртинки, занимал свое место подорожник, но основной тяж прогона зарастал скромницей овсяницей, неукротимым пыреем и травой-муравой: ее еще называют топтун-траву, или, по-научному, горец птичий — чем сильнее ее топчут и щиплют, тем гуще в ответ она отрастает. Заводился самосевкой и кустарник. То всплывет из трав купина желтой акации, то высунется хамовитая бузина или стебель американского клена. Или неприступно утвердится куст шиповника. Но чаще всего оно безжалостно высекалось, дабы не дать хода облесению травяного уголья.

И теперь, когда коров на деревьях не осталось, прогон продолжал подкашивать наш сосед Мулой, когда еще был в силе, или Цыган — на прогоне почти чисто. По ости пробивалась муравленнная отава, свежая трава. Кое-где остался шиповник, немного акации, матерееет с годами ствол дикой яблони... Да вот недавно при отводе трубы от газовой магистрали канаву пустили прямо по прогону. Плохо закопанный ров ржет взор, вопиет о беспорядке.

...У всех были дети, а в некоторых семьях и пятеро-шестеро. Они питались и коровьим молоком. Коров нужно пасти летом, зимой кормить сеном. Сено добывали на лугах, в лизертах, на склонах логов, на опушках лесов, на прогоне. Помнятся эти ровные зеленые покрывала склонов, с параллелями натопанных коровьих стежек, ныне зарастающие дурниной, изрытые оспинами ям — перед революцией местная помещица княгиня Толстая собиралась усыпать склоны логов саженцами антоновки (товар ходовой, курская антоновка поставлялась даже к императорскому столу) — и на каждом склоне видятся воображаемые пунктирные границы участков, которые обкашивались на сено. Участки, кажется, не делили. Кто первый явился с косой — того и сено. Деревенскому мужику в страдную летнюю пору нужно было урвать от колхозных дел вороватый часок, чтобы на бегу, спрыгнув с подножки машины или с гусе-

ничного трака, выхватить из-за кабины косу, чиркнуть по полотну монтажкой и вкосьиться в травяную делянку.

Пишу «вороватый» потому, что по прихоти нашего земляка, недорезанного троцкиста Никиты Хрущева, ставшего на ту пору главой государства, начали бороться с инстинктами деревенских жителей в судорогах последнего обобществления народного богатства. Урезались подворья, в садах вырубались кустарники и фруктовые деревья, ограничивались покосы сена. Сановное безумство тогда не было принято обсуждать, а деревенское начальство сквозь пальцы смотрело на самоуправство мужиков. Да и самим было невдомек об этом, как его считали, «индивидуализме», — детей не рожать, что ли?

Косили и по ночам, при свете луны. Случались схватки за кустами и черной мордобой — если не удавалось поделить участок миром. Не было слышно, чтобы когонибудь подняли на вилы. Но вот пасти коров на угодьях не возбранялось. С пастухами-книжочками...

...И пока читал, между четвертой и седьмой главой книги по прогону прошелестела ватажка школьников, возвращавшихся со второй смены, да и симулянты из восьмого «Б» молчаливо прошмыгнули. Им нельзя показать, что прогуляли уроки, что в старых окопах в зарослях парка селекционной станции резались в карты или мастерили поджигные. Потом прошагали в деревню старшеклассники с деловыми разговорами о предстоящих экзаменах. Прошла молодая пара, видно, с остановки автобуса. Хлопотливо поспешил после двенадцатой главы глиницкий селянин, за руку волоча упирающегося ребенка — ездили в райбольницу во Льгов. А на закате солнца проволочилась с клюкой бабка Кучумиха — ходила на селекционную почву звонить внучке в Москву...

...В человеке есть начала, которые закладывают самостояние его личности, открывают ключи жизни. Одно из начал моей жизни — прогон. На нем созидалась та личность, часть которой неизменна до последних дней.

То ли чудится теперь, то ли так и было... Как в кротком лиловом коровьем глазу отражалась фигура вопросительно замершего среди прогонных трав подростка.

С книгой в одной руке и приподнятым прутиком — в другой.

СОБАЧЬЯ БУДКА

Не сказать, чтобы я равнодушно относился к кошкам и собакам. Претит преувеличенное пристрастие к живности, показное единение человека и зверя. Будь человек и зверь так единокорны, не появлялись бы в трущобах города стаи одичавших кошек, или банды преданных, выброшенных на улицу псов. Просто, всякая тварь должна быть на своем месте. Охотничьей гончей плохо в городской квартире, — как и серенькому кошаку, коему надобен темный подпол, где можно словить юркую мышь. Голубоглазая нежная кошечка не должна спать в семейной постели, — но на коврике у двери, а могучий дог со стальными клыками да обретет достойный угол на хозяйском подворье. Как и дворняга не может тосковать на балконе пятиэтажки, а должна поселиться в деревенской будке.

И не знаю еще, может ли собачья будка служить источником силы, быть одним из мест ее пребывания. Тем более, что ее обитатели, кроме последнего, давно покинули этот свет, а от самой будки остался лишь проржавевший кусок крышки с несколькими истончившимися кривыми гвоздями в ней. Даже той шестидесятилетней дворовой ракиты, под которой будка располагалась, несколько лет как не стало. Но именно с обитателями будки связано много живых воспоминаний, потому будка под ракитой во дворе деревенского дома и отпечатлелась в памяти, как знаменательное место.

...Начальницей будки была моя мать. Она десятилетиями заселяла ее псишками мелкотравчатой породы, попеременно именуемыми то Шариками, то Тобиками.

Мелкотравчатыми потому, что собаки легче прокормить: что сама ела, то и псам давала, плюс тюрю или размоченные в воде хлебные комлти. Собаки безропотно употребляли из алюминиевой мятой миски и борщи, и супы, и рыбы головы с хвостами, а более всего рады бывали куриной косточке или свиному ребру.

В деревне собака необходима. Деревенский пес — и живое существо, более понимающее хозяина, чем другие обитатели двора. Его соратник и сожитель. Одинокому хозяину не так тоскливо длинными зимними вечерами, если знает, что за стеной избы стучит сердце верного товарища и зоркие его глаза из глубины будки буравят дворную тьму в ожидании опасностей. Второе дело пса — служить позвонком. Чуть произошли подвижки в атмосфере деревенского покоя, залетела на ракету наглая трещотка-сорока или стукнул в ворота почтальон — нужно подать хозяину голос, привлечь его внимание, пробудить от спячки. Утром пес удовлетворенно попрыгает у будки, натягивая цепь, всем видом выражая сдержанную радость при виде владыки его мира и жизни, вышедшего на крылечко: значит, все на своем месте, ничего не изменилось, можно жить дальше.

Один общий признак свойственен собакам — верность хозяину. У дворового пса верность — высший смысл его служения. Случается, хозяин без совета с псом покидает этот мир — и по собачьему сердцу проходит трещина. Его должность остается неизменной и у нового хозяина, быть сожителем и позвонком, но никто и ничто не сможет заменить его привязанности к прежнему хозяину, умалить его верное достоинство. Смысл существования дворового пса усекается, а глаза его иногда заплывают непонятной влагой.

...Один из псов достался матери почти взрослым. Приживался к конуре плохо, двор не считал своим и вообще отличался унынием и нетерпимостью. О таких говорят — «злойный». Злоба сама по себе для дворового пса не отрицательное качество: на внешнюю агрессию собака должна отвечать готовностью порвать супротивника в клочья — и злобность тут к месту. Но этот Тобик был как-то неумно, бессмысленно злобен.

На летние каникулы к хозяйке приезжали гости, и одна из внучек, пробегая по утрам мимо конуры за угол сарая к туалету, не забывала сунуть палку в зубы псу. Тот забивался в конуру, рычал, сверкал глазами, выскакивал, хватал палку и даже делал угрожающие прыжки в сторону малолетней глупышки. Видно, у прежних хозяев его дети дразнили палками щенка сызмальства и воспитали в нем ненависть именно к детям. Бабушка отчитала внучку, но той было не впрок. Мой младший брат Володя как раз подъехал на мотоцикле навестить мать, когда собака сорвала цепь, бросилась на ребенка и искусала руки и лицо.

Дворняга не должна нападать на ребенка, а если это случилось, значит, что-то сбилось в собачьих «настройках», и раздражение от детской шалости взяло верх над внутренне свойственному собаке запрету на агрессию против детей. Ребенок, скажем, сделал вывод об опасности своих забав, но дворовая собака не интеллектуал, она впадает в капкан двойственности, не имея смирения.

Эта собака *пропащая*, не годится даже на роль дворняги. А «процесс» отбраковки прост...

На верстаке в сарае Володя нащупал молоток. Один удар прекратил собачьи мучения...

«Последний» материн Шарик был глумковат. Саша из Стремоуховки, муж материней племянницы Лены, привез его от избытка помета, когда двор оставался без надзора дворняги. Он возбужденно сопел, лез со всеми обниматься и совсем не гавкал. Точнее, не видел объектов облаивания. Ну, на воробьев тявкнуть, на сороку. И что ему сорока, что он — сороке? Вырос кривоногим, каким-то раскоряченным, необыкновенно подвижным, оделся темно-живописной блестящей шерстью, отцвечивающей рыжими подпалинами. Вырос, но разума не нажил.

После смерти матери перевез его в Курск, скотиле новую конуру во дворе частного дома. Шарик обжил ее с покорностью и чуть не с равнодушием, будто эта будка была в его жизни не последняя. И точно оказалось. С соседней улицы дважды приходил паренек лет семи-восьми, спрашивая робко, но настойчиво — не откажемся ли мы от собачки. Его бабушке как раз нужна была во дворе собака, а съездить на центральный рынок и приглядеть себе кандидата в кошачье-собачьем ряду, где живность отдавали даже просто в хорошие руки, он не догадался. Мне же приходилось покидать городское жилище, и я часто просил знакомых хотя бы один раз в день покормить пса. Так что третий визит того паренька увенчался успехом. Шарик, бодро подпрыгивая, переместился на коротком поводке на новое место жительства, в другую конуру. Надеюсь, в последнюю, ибо ко двору прилагались, судя по всему, и хорошие руки...

Остановиться с подробным повествованием хотелось на предшественнике Шарика, небольшом, неприметном псе Тобике, обычной дворняжке серо-пегой масти, с живыми глазами карего цвета. Тем более, что и наш двор со своего первого дня оказался ему не чужим. Прошло немало лет, сменилось в будке на дворе несколько собак, а теперь и вовсе их не стало. О каждой дворняге вспоминается что-то одно, особенное, но легко вспоминается лишь о Тобике.

...Решил я однажды навеститься на велосипеде в Викторовку, сельцо о двух оставшихся у железнодорожной развилки домах казарменного типа. В этом сельце, что в двух шагах от станции Артаково, родился мой одноклассник Гриня Савченко, мастер спорта по легкой атлетике, знаменитый в округе тем, что пронес по нашему шоссе факел с огнем на встречу Московской Олимпиаде 1980 года. Легкий участник эстафетного пути имел для Грини тяжелые последствия. Все захотели попить с ним водки, и бремя славы пригнуло его к рюмке, что часто случается в этом мире. Одноклассник боролся с недугом и временами побеждал его, скрываясь от доброхотов в родном углу. В один из таких периодов мы и встретились под сенью яблони в саду.

То да се, в пылу воспоминаний о школьном детстве спросил я о щенке мужской породы, потребном матери для охраны опустевшего двора: не знает ли Гриня, где такого взять? «Да вот же он!» — Гриня нырнул в сараюшку у дома и на ладони вынес из ее закутков вполне себе щенка: «У соседки сука ощенилась, не знает, куда девать». К новому месту обитания щенок перебрался в сумке, притороченной на руль велосипеда.

То ли место обитания ему не глянулось, то ли кличка Шарик, то ли материна кормежка, но пес вырос худеньким, мелким, размером с обшлаг телогрейки, не оправдывая своего прозвища, капризным до приторности и чрезвычайно плаксивым. Не нравились ему ни цепь, ни конура, ни двор с постылой хозяйкой. И всегда он — даже среди ночи — подаст о себе нудный голос, раскричится, расстонется о несправедливости судьбы. Часами, захлебываясь от раздражения и возмущения, мог лаять вслед пролетевшему утром воробью. Ни увещевания не помогали, ни наказания даже; не проявилось в нем привязанностей и заметных привычек, — только стон и суетные жалобы от него и услышишь. То есть, он доказал полную бесполезность в своей роли. Не дворняга, а чудо заморское.

Хозяйка дальновидно спускала своих псов с цепи, чтобы те ночью сходили по своим кобелиным делам, не привлекая ко двору скандальных последствий. Потому и заводила кобельков, а не сучек, чтобы не иметь забот с пометом. Пес под утро возвращался на место своей силы, в конуру, и морда его, лежащая на порожке убежища, выражала полное удовлетворение. Так же она поступила и с Шариком. И этот единственный случай имел-таки для двора последствия: грустные или радостные — другое дело.

Мать, конечно, обратила внимание, что Шарик на какое-то время поумерил жалобы, приглушил стоны, но не придала тому особого значения. И напрасно. Иначе при-

метила бы, что ко всему прочему на прежних харчах Шарик стал непродуманно толстеть. А щенячий писк из конуры ранним утром поверг ее в столбняк. Стала гадать, откуда Шарик приволок щенка — и зачем? Чтобы скрасить одиночество?

Все оказалось проще некуда. Гриня не посмотрел под хвост щенка, схватив в сарае первого попавшегося, мы с матерью поверили, что в нашем дворе поселился кобелек — а природу не обманешь. Не сбавляя стонов, Шарик... то есть, не знаю теперь, как и назвать — кормила дитя, проявляя необыкновенную прозорливость, до тех пор, пока щенок, которого мать по своей привычке уже окрестила Тобиком, не стал выбираться из конуры на свет Божий и не освоил двор. А поскольку замена вступала в строй, мать приказала вернуть незадавшегося Шарика обратно.

Гриня не стал оправдываться и привязал блудную дочь своей соседки к яблоне. Как он объяснил, собачка, которую мы называли обидным словом Шарик, была дочерью французской болонки — но не рассказал, как та очутилась на краю цивилизованного света в Богом забытой Викторовке. Может быть, отстала от проходящих через Артаково пассажирских поездов? Плохо понимая наследственность в собачьей области, я догадался, что потомица изысканных галльских комнатных псин переместилась в захолустную деревенскую конуру. Которую она восприняла, как наказание — и противилась ей с тоской и иступленной капризностью. Мы же с матерью, не зная ее породы, не поняли и ее судьбы — служить живым украшением хозяев.

Тобик, прияв разбавленную деревенскими дворнягами кровь — и тем самым приобщивший душевно-тонкую галльскую породу деревенской нужде, обжил и опустевшую после изъятия своей матери конуру, и просторный двор. Настала минута, когда его нужно было сажать на цепь. Из цепей, висевших на стене в сарае, я выбрал самую легкую. Подогнал под тоненькую детскую шейку мягкий брезентовый ошейник, замкнул металлическую дужку на карабин цепи. Пес попрыгал, пометался, натягивая цепочку, впервые прочувствовав ограничение свободы. Поплакал. Правда, плакал недолго, — дня два. Ныл, скулил, постанывал, иногда рьяно взлаивал — но ничего поделать не мог. А потом признал цепь как собачье бремя — и это было правильное решение.

Такое же правильное, как и признание хозяйки владычицей двора и повелительницей его маленькой жизни. Вот эту невысокую полную женщину в преклонном возрасте, с покрытой пестреньким платком головой, отныне нужно было считать центром Тобикова мира. С ней у Тобика установилась прочная и долговременная связь. Наступило и полное взаимопонимание. Если утром после сна мать выйдет во двор, то обязательно поздоровадается с ним, а пес ответит бурным прыганьем на пружинисто натянутой цепочке. И уходя в дом на ночь, попрощается с ним взглядом, а Тобик, должно быть, с грустью вздохнет в ответ: спокойной ночи, старая, я тебя посторожу. Если хозяйка днем выходит редко, значит, неможется ей, и Тобик тогда долго и озабоченно рыскает взад-вперед у конуры, дожидаясь светлой минуты ее выздоровления.

Стала мать различать и Тобиковы речи. Если пес гавчит и поскуливает — значит, пить хочет. Бодро потягивает — газету принесли и сунули в щель забора. Лающее ворчание — на соседа, шествующего по улице мимо двора. Раскатистый звонкий лай — на незнакомого гостя у ворот. Попусту Тобик не голосил. Мать исправляла его извещения и принимала к сведению его доклады. Так что они с матерью находились на месте своей силы.

Постепенно проявился и характер пса, исполненный беззлобия и сокрушительно-го добродушия. А первым этот характер понял кот Васька. Зимой мать впускала его в дом погреться у теплой печки, безлимитно кормила, но на ночь выгоняла-таки во двор. Поскольку кот был несдержан в оправлениях, проситься на улицу не привык, а впопыхах мог нагадить по всем углам. Мать же того не принимала на дух и каяла его неотступно: «Жрешь больше человека, а не знаешь, куда можно ходить, куда нет».

Васька, испугавшая недостатки, добросовестно ловил мышью в сарае и во дворе, но мать не меняла своего к нему отношения. Коту, если не ночевал на теплой навозной куче за сараем, оставалось лишь заседать нахохлившимся истуканом на верху забора как раз над собачьей будкой, наблюдая за подрастающим щенком. Ему сменили тонкую цепь на толстую, «взрослую», и насобачили новый, кожаный, двойной, прошитый суровой нитью ошейник. И однажды, что-то постигнув вещим своим нутром, кот презрел устоявшееся суждение об исконной вражде кошек и собак, спрыгнул на почву реальной обстановки, вошел в будку и бестрепетно разлегся на Тобиковой жилплощади. Дворовый порядок, однако, от этого не рухнул.

Более того, Тобик встретил его выходку приветливым помахиванием хвоста, а потом и сам стал подлегать сбоку Васьки. И часто смурными морозными ночами они коротали время, согревая друг друга. Стерпелось у них на годы, до той поры, когда коту не настал его срок.

Летние гости, также подрастая, поменяли манеру общения с собаками, вежливо называя Тобика по-французски месье Тобиасом, а если кто и сунет тайком по старой привычке в конуру палку, пес приветствовал ее как элемент игры. Его невозможно было разозлить или вывести из себя. Хозяйкины внуки иногда отвязывали его от цепи и он, радостный, шумно дыша, суматошно носился по двору за мячиком, который дети перекидывали друг другу. Если ему везло, он хватал его в пасть и с торжеством поглядывал на играющих: дескать, а вот и я! Кто-нибудь из детей мячик у него со смехом отбирал, а Тобик скалился в довольной глупой улыбке.

...Век дворовой собаки 10-15 лет. Пес живет на свежем воздухе, и выводить на прогулку его не нужно. Недостаток движений он восполнит бодрым рысканьем на длину цепи, по набитой до каменистой жесткости дуге около будки.

Круг у будки мал. На нее не ополчается мировое зло, но заливают вселенские дожди, превращая территорию вокруг будки в скользкую грязь; воют осенние ветра с засекающей будочный лаз острой крупкой; свищет пурга, погребая снегом двор вместе с собачьим убежищем. Она не вечна, будка-то. Дерево ветшает, лаз выкрашивается цепью, оцинкованная жесь будочной крышки постепенно истончается и начинает пропускать воду. Ее приходится восстанавливать или заменять. Пес обживает жилье с новыми деталями, сперва облаивает незнакомый порожек, потом ворочается в деревянном нутре, привыкая к запахам свежего жилья. В морозы укрытие спасает от пронизывающего ветра, радиатором же отопления в ней служит собственная внутренняя энергия плюс малагабаритный Васькин калорифер. Но от летнего зноя и в ней не скроешься, приходится рыть лежки между прохладных корней ракиты и в них прятаться.

Как-то решил в изнуряюще жаркий день искупнуть его в пруду. Думал, развеется, поплывет, полюбит водную процедуру. Проведает заодно окрестности, разузнает бугры и лощины, побегаёт по столетним рвам обваловки барских угодий, еще не заросших крапивой и лопухами. Но не тут-то было. Тобик уперся в землю всеми лапами и хвостом, тормозил когтями изо всех сил, выпуча глаза — и близко к воротам не позволил подтащить, не говоря уж о пределах двора. Так страшился покинуть его границы.

Даже отрываясь иногда от цепи, он стремительно обследовал дальние дворовые углы, залетал и в сарай, но ни разу не выбежал на улицу или в огород, хотя все ворота и калитки были открыты. Он оставался верным рыцарем деревенского двора до последнего дня. Кроме одного исключения, к которому еще вернусь.

В его крохотном круте у будки были нестерпимы внешние перемены. Уж как Тобик обтягивал новый столик на дубовых столбах, вкопанных у забора, гневно тянулся к нему передними лапами и даже подгрызал широкую доску столешницы с краю, но гости хозяйки считали важным делом попить на нем чайку в тени ракиты. «Зачем это?» — будто жаловался Тобик, указуя лапой на неуместное, с его точки зрения, нов-

шество. «Уберите!» К нему не прислушались — и пес нехотя смирился. Тем более, что и цепь ему укоротили на несколько звеньев.

Был у него грех — куриные яйца воровал. Когда срывался с цепи — а ни одна цепь не вечна: либо сгнивает звено, либо развинчивается вертлюг на карабине, либо попросту перетирается — тут же нырял в курятник к гнездам, под испуганный наседкинский гвалт цапал зубами теплое, только что снесенное яйцо и глотал его вместе с хрустящими черепками скорлупы... Если бы были сложены молитвы за животных грехи, то первой можно было бы в защиту Тобика прочесть эту — за плотоядие. Тем более, что пищевого белка в материнном меню почти не перепало. Можно и так сказать об этом пристрастии: зверь в Тобике восполнял недостатки домашнего рациона.

Когда Тобик начинал у будки попрыгивать с передних лап на задние, восторженно повизгивая, значит, услышал за железнодорожным переездом, в полутора километрах от дома, знакомый звук мотоцикла моего брата Володи. Ни разу не ошибся. Володю Тобик любил. Володя и побеседует с ним, и за ухом почешет, и шерсть на загривке взлохматит, и вывалит у конуры горку привозных городских косточек. Тобик улыбочато скалился, вставал на дыбки и обнимал его передними лапами за талию — как брата. Дескать, только ты меня и понимаешь.

И у людей так же: больше любят тех, кого реже видят.

...Хозяйка осенью стала редко выходить во двор. Съехались на консилиум ее дети решать, что удобнее матери будет перезимовать у того из них, кого сама выберет. Выбрала она ехать в Москву к младшей дочери. Одели ее тогда в теплое зимнее пальто, загрузили вместе с вещами в коляску мотоцикла, отвезли в предосторожностями на городской вокзал и посадили в пассажирский поезд. В Москве ее должна была встретить дочь и отвезти к себе в квартиру на пятнадцатом этаже высотки.

О Тобике за хлопотами вспомнили только на следующий день. Выбор был невелик. В городскую квартиру дворнягу не возьмешь: она за зиму разжиреет без движения, развратится от безделья... Пристроили Тобика к дальним родственникам по линии покойного отца, поселившихся у самого железнодорожного переезда. Тем более, и своя собака на подворье у них была.

На стороне всяко хуже, чем дома, даже если не морили голодом и давали крышу над головой. Главное потрясение — исчезла неведомо куда владычица и повелительница, и пес почувствовал себя брошенным. Собачий век обессмыслился и усох. Вторая роль на чужом подворье Тобика была непонятна. Охранять территорию он не должен. Неизвестные люди выносили ему еду и питье, сгребали в кучку помет. Делать им доклады об обстановке было не обязательно. Длина цепи не позволяла снюхаться с хозяйским псом или выяснить его намерения. Оставалось бездарно перегавкиваться, смиряясь с неизбежностью. И так до весны...

В городе мать попила нужных таблеток, накопила сил, а весной по теплу засобиралась обратно... Растопила остывшую за зиму плиту, сготовила обед, вспомнила о Тобике.

...Тобик меня, разумеется, узнал. Вильнул хвостом, позволил привязать себя к багажнику велосипеда и потрусил в пыльном облаке по полевой дороге домой. На подворье он воспрял, несколько раз нырнул в родную будку и выскочил обратно, оживляя в памяти свои собачьи воспоминания. Одобрительно тьякнул и даже изобразил улыбочатый оскал.

На шум из дома вышла мать, остановилась посреди двора. Тобик ее заметил, вдруг сделал к ней несколько быстрых шагов и замер. Мне на мгновение показалось, что он хотел броситься на мать, но передумал. Тобик смотрел на нее неподвижным взглядом, исподлобья, будто оценивая сам факт ее явления во дворе, в котором считалась она владычицей. Что-то странное происходило в собачьей душе. Если бы мать просто исчезла из его жизни, как это случалось и случается с сотнями и тысячами других собак, оставшихся без хозяев, он бы смог животным образом это пережить, отму-

читься умиранием привязанности — и продолжил бы свое бессмысленное существование. Но если хозяйка неведомым способом снова появилась во дворе, то, получается, на эти минувшие полгода, равные проклятой, вчуже прожитой жизни, она его, Тобика, предала? «Как ты могла, старая?!» — читался в его глазах горестный вопрос.

И хотя не я находился в центре Тобикова взгляда, мне стало тревожно и неуютно, а мать почему-то засумятилась, схватилась за сердце...

Они, конечно, продолжали жить. Тобик по-прежнему исправно нес службу, доносил хозяйке об обстановке, сообщал ей новости на своем языке, но не осталось в нем прежнего доверия. Как будто поугасло его горячее сердце, надтреснул звонкий голос. Пес стремительно и необратимо повзрослел.

...Той теплой малоснежной зимой мать позвонила из деревни по телефону и сообщила среди прочих известий: «Тобик пропадает. Заболел, ничего не ест». Мы с Володей съехали в деревню в один из дней. Что там было: то ли заражение крови, то ли клещевая инфекция? — а в эти годы у нас как раз и появились первые дальневосточные клещи — не знаю. Правая передняя лапа Тобика вздулась и стала походить на окорок. Наружная сторона культи стерлась до мяса, под содранной на суставе шкурой блестели нитки сухожилий, но пес уже не чувствовал боли. В глазах его появилась тоскливая покорность. Мать сказала: «Отвезите к ветеринару, он укол сделает». Но и мать, и мы с братом понимали, что даже самый чудодейственный укол Тобику не поможет. Понимали, исходя из русского представления, что человек, как и собака, умирает не от старости и не от болезни, а когда созрел, поспел. Пospеть можно и в двадцать лет, и в девяносто, а болезнь тут лишь внешний, видимый признак спелости. Пришел и Тобиков срок. Он *собирался*...

Мать отвязала его от цепи, сняла истрепанный ошейник, и пес забеспокоился. Цепь придавала его существованию смысл, приковывала к обязанностям. Тобик почуял себя не столько освобожденным, сколько ненужным — и в этой ненужности беззащитным. Но этим движением повелительница его жизни являла последнюю милость. Пес должен не издохнуть на пороге конуры, прикованный к ней цепью, а выбрать час и место своей смерти...

Володя обнаружил его на следующий день напротив двора за деревенской дорогой, в заснеженном, заваленном травянистым хлусом рве, на границе бывшего дворянского владения. Во влажной мягкой земле брат молча выкопал яму, зарыл в нее волглое, изглоданное болезнью тело собаки, насыпал холмик и вбил колышек, обозначающая место ее последнего упокоения...

Недавно прочел у апостола Павла о твари, находящейся в рабстве тления, его слова о том, что, начиная с Адама, в падшем мире всякое животное с человеком «совокупно стенает и мучится донныне», а освобождение его наступит со спасением человека... И опять вспомнил я о Тобике. Рассеялось в безмерном воздухе дыхание его, что хвалило Господа. Сотлела плоть. Человек по-прежнему приближается к спасению, и до освобождения стесненной тлением собачьей души так же далеко.

Но будто навевает тем воздухом думку об этом псе, наследнике французских кровей, с виду — обыкновенной деревенской дворняге. Какой-то чуткий сторожок каждый раз вызывает из памяти картину давней детской игры в мячик во дворе у собачьей будки, Тобиков восторженно-глуповатый улыбочатый оскал...

ВЕРСТАК ИЗ ДОЛИНОВКИ

Трудно найти предмет домашней обстановки, который совмещал бы столько несвойственных ему обязанностей. Но он не вполне предмет домашней обстановки, скорее даже — «не домашней». И даже не «обстановки». Изначально он — разделочный стол с кухни в деревенской столовой. Обнаружил его в разломанном состоянии на помойке в камчатском селе Долиновке Мильковского района более тридцати лет

назад. Его столешница двухпудового веса оказалась из качественной советской нержавеющей стали, а опорная рама, боковины и нижняя стяжная переключательная — из стали обыкновенной. На кухне они каким-то образом оказались разъединены, и заведующий столовой не нашел ничего лучшего, как списать его и отправить в утильную яму неподалеку от раскатистой реки Камчатки. Потом я разобрался в причине столь скорбного к столу отношения: нержавейка с углеродистой сталью варится сведущими мастерами особыми электродами, а их у местного сварщика и не нашлось. Но у сварщика из мелиоративной передвижной механизированной колонны, где я в то время работал, такие электроды как раз завалились, и он ими успешно соединил разъехавшиеся части в единое целое.

Столешницу я отъезлил наждачной шкуркой, дрелью с войлочным кругом отполировал до холодного сияния, а остальные части покрасил густой темно-синей краской. И больше не дрогнувший ни одной своей деталью стол утвердился в одной из комнат новой, только что полученной квартиры в райцентре Мильково. Раньше он был высок и шаток, столешница находилась на уровне пупа, и садился я за него, будто взгромождаясь на коня без стремян. Потом отпилил ножки, уменьшая высоту опорных боковин и теперь слетаю на него, как орел.

Если выложить на нем из кирпичей двухтонную печь с боровком и трубой в форточку — он бы и это выдержал. На таком столе еще можно было бы плясать. Колотить дрова или строгать доски. Красить табуретки, прямить гнутые гвозди, рубить зубилом винты. На нем не оставалось царапин от твердых предметов, легкая кувалдочка не оставляла вмятин, и не каждое каленое сверло могло проникнуть в его вязкую плоть. Грязь, опилки или засохшую краску нужно было смахнуть щеткой, рабочие пятна отмыть ацетоном и поновить металлическое стекло шлифовальной шкуркой. И он начинал блестеть, как новый.

Он ничего не замечал, но ко всему был готов. И к празднику тоже. На нем расстелась скатерть, располагались блюда с домашними яствами, стукали об него доньшками торжественная ракета шампанского и подпольная сулея с синим вином. И всегда находилось место для гостей. Как это было в Милькове, так и в Курске, куда он спустя десяток лет переехал на новое место установки. Правда, еще год провалялся в деревенском сарае у матери в ожидании этого места. Сарай, в котором было темно и пыльно, отнесся к металлу без уважения. В Курске его привели в надлежащий вид с помощью ацетона и шкурки, и более двадцати лет он вел курское городское существование. Не говорю «жизнь», поскольку неодушевленный предмет не живет, а существует, имея неживое подобие в этом существовании. Пока в результате стечения некоторых обстоятельств он опять не оказался в деревне. На этот раз не в сарае, а в хате. Где и сфотографирован. Он опять при деле, служит посредником.

...С самого начала я использовал его для литературских нужд. Писательское дело включает в себя и фразотворительное ремесло, а такой стол вполне можно назвать и литературным верстаком. На нем за несколько коротких лет была разбита пишущая машинка, написаны тысячи тысяч слов — а он этого даже не заметил. На нем столбами стояли словари и справочники, веером по нему разлетались свежие номера журналов и газет, покоились письма друзей, лежали поздравительные открытки, телеграммы о смерти близких. Теперь главное место на нем занял портативный компьютер, ступивший в своем теле чрезвычайные возможности. Он и пишущий узел, и часть печатающего устройства с подсвеченной корректурой, архивное хранилище рукописей, разнообразных книг, фотографий, документов и рецептов засолки огурцов, проигрыватель музыкальных произведений и видеофильмов, телевизор, средство электрического общения с друзьями, родственниками и незнакомыми читателями.

Стол ничего этого не знает и отзывается на присутствие компьютера только небольшим повышением температуры под вентилятором процессора. Тридцать лет соскочило с его поверхности, не оставив и царапины.

Иногда я о нем думаю, восхищаясь и ужасаясь одновременно. Должно быть, его тайное предназначение — быть именно посредником. Между живым и мертвым, между прошлым и будущим. И, как любой посредник, он обладает свойством всеобъемлющего равнодушия. Если он не воспринимает следов, значит, ничего не помнит. Он забыл, как на нем резали рыбу и овощи в столовой, забыл, сколько на нем выправлено кривых гвоздей, сколько высоких слов за ним измыслено. А случилось, над ним реяли и облака вдохновений. Но ко всему он относится с холодком. Вот и сейчас, когда я пишу на нем эти строки, он всеми своими жестокими ледяными ребрами выражает полное равнодушие ко мне, к тому, чем я занимаюсь.

Он не помнит и того, что его вытащили с помойки, стряхнули с него рыбки потроха, картофельные очистки и отмыли в речной воде. Его столешница, сплавленная особым образом из стали и меди, не подвержена порче, она не боится ни огня, ни мраза, в полной мере своего бесчувствия не замечает ни дней, ни лет, не отзывается на перемену времен года, оставаясь одинаково холодной и к горячим прикосновениям локтей человека, и к прохладному присутствию слесарных инструментов. Она переживет и меня, и несколько сотен поколений людей, не поступившись ни одним атомом своего нержавеющей состава.

Всегда был в нем уверен. На него сверху струями лилась вода (соседи по подъезду уехали на дачу, краны забыли закрыть, а когда в сети появился напор, весь подъезд промок снизу доверху и заискрился мокрой проводкой), но на поверхности стола остались лишь синюшные разводы потолочной побелки. Выброси его из окна пятого этажа, о чем тайно мечтала моя уставшая от этого сооружения жена — у него погнуты боковины, да лопнет пара крепежных болтов. Что нетрудно исправить. Даже если бы в доме случился пожар, прогорели бы перекрытия и стол свалился бы к уровню руин первого этажа — ему ничего бы не сделалось, разве от перекала на рях боковин и металле крепежных связок возникли бы букеты цветов побежалости.

Уверенность в холодном безразличии стола ко внешним воздействиям создает впечатление незыблемости основ, а помещение, где он располагается, обретает значение сильного места.

...Таким и должен быть вечный верстак. Опора, на которой временами происходили подлые дела вроде колки дров. Но и свершаются местные творения.

ДИВАН

Ему более полувека. Куплен был в те годы, когда наша мебельная промышленность встала на ноги и начала массово производить горки, или «серванты» по-деревенски, что означало посудный шкаф с двумя раздвижными стеклами, тако же платяные шкафы, которые у нас окрестили почему-то *гардеробами*, кресла, похожие на венские стулья с прутьяным витьем вместо спинок, диваны. Большой частью мебель строилась из клееной рейки, фанерованной натуральным шпоном. Стягивалась по внутренним углам болтами и литыми стальными накладками. Мебель тяжелая, надежная — трактором не переедешь.

Диван стоял в «зале». Он недолго принаравливался к семье, скоро освоился, осуществил тихое внедрение в деревенский быт и обстановку, стал частью жизни. Раньше его сиденье было пружинным. За сорок лет пружины-таки полопались и вылуцились. Отец выдрал их останки, застелил сиденье ватным одеялом и обил черным родным дерматином.

Диван нельзя было причислить к деревенской мебелировке. Всем своим черным, со светлой оторочкой прямой спинки, видом он внушал уважение, как крепкая личность со скромным, но непререкаемым достоинством, а осанкой вызывал полное доверие. Диван обладал открытым нравом, приманивал округлостями, приглашал прилечь

ребенка, а откидывающиеся по бокам диванного сиденья валики примиряли со своей длиной и долговязого взрослого. Сиденье, как нижняя челюсть, выдвигалось на некоторое расстояние из диванного черепа, пустота закладывалась дощатой вставкой и, таким образом, на порасширившемся диване можно было разместиться и вдвоем.

Вот мы со старшим братом Юрой на нем «валетиком» и спали.

...Однажды перед сном брат рассказал страшную историю про чертей, которые водились в конопле. Да я и сам видел копытные следы, замаявшие конопляные стебли в землю на косом колхозном участке за глинящими огородами. «Ночью придут, утащат», — страшал меня Юрка и выставлял над головой два пальца, изображая рожки. В тот раз я спал с краю. Ночью меня что-то сильно толкнуло и сбросило с дивана.

На полу я проснулся и в ужасе замер. «Вот они, черти!» — промелькнуло у меня. Бабушка Лукерья называла их *анчутками*. Они, наконец, занялись мной, и что от них ждать дальше — неизвестно. Существа эти коварны и непредсказуемы. Может быть, они попытаются распилить меня колхозной циркуляционной пилой на ровные чурбачки, а то отнесут от дивана и притопят в большой луже на дороге у хаты Посметьевых. Лучше всего прикинуться невежей и ввести анчутку в заблуждение полной неподвижностью... И долго я замерзал на полу, покуда опять не заснул...

Утром мать побудила нас в школу и предусмотрительно ругнула Юрку за порывистость. Он спал беспокойно и даже лягался во сне...

...С дивана лежа смотрел новый телевизор, когда в хате было тихо и пустынно, а мне нужно было в школу во вторую смену. На диване я зачитывался новой книгой. Каких только мечтаний не постигало на его ложе, каких бредней на нем не примерещилось! Куда-то звало с дивана, манило добраться до неведомых, несправедливо устроженных земель — и все там исправить.

Последний раз посидел на нем перед уходом в армию. И потом возвращался из камчатских отпусков больше не в родительский дом, а на этот поскрипывающий, постаревший, но сохранивший советскую прочность диван. Потом на нем сидели мои дочери, теперь прилегают на него внуки. Он обжит четвертым поколением людей — немногой предмет деревенской обстановки может этим похвастать.

Он теперь стоит в малой, «школьной», комнатке, напротив окна. Отработал много лишнего. Был верен все годы. Теперь чаще отдыхает, — зимой и подавно смерзся в выставшей хате, морщится да ежится... Если бы существовали деревянные награды за верность, на светлую спинку этого дивана можно было бы приколотить несколько медалей — по одной за каждое десятилетие беспорочной службы. Но настоящей наградой ему стало бы человеческое тепло. Тепло передается малоподвижным диванным частям, бодрит их молекулярный состав. Придает новый смысл всей устаревшей конструкции. Вносит жизнь.

И думается мне, что Диван не служил, не работал, как «предмет» деревенской обстановки, а соучаствовал в жизни большой семьи, как личность, как ее равноправный член.

И хотелось бы услышать его рассказ...

